



Н. С. ЛЕСКОВ
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Николай Семёнович Лесков

Однодум
(Праведники #1)

Содержание

1.....	0005
2.....	0011
3.....	0015
4.....	0018
5.....	0026
6.....	0032
7.....	0038
8.....	0043
9.....	0051
10.....	0056
11.....	0058
12.....	0062
13.....	0072

Николай Семёнович Лесков

ОДНОДУМ

В царствование Екатерины II у некоторых приказного рода супругов, по фамилии Рыжовых, родился сын по имени Алексашка. Жило это семейство в Солигаличе, уездном городке Костромской губернии, расположенном при реках Костроме и Светице. Там, по словарию кн.Гагарина[1], значится семь каменных церквей, два духовные и одно светское училище, семь фабрик и заводов, тридцать семь лавок, три трактира, два питейные дома и 3665 жителей обоего пола. В городе бывают две годовые ярмарки и еженедельные базары; кроме того, значится «довольно деятельная торговля известью и дегтем». В то время, когда жил наш герой, здесь еще были соляные варницы.

Все это надо знать, чтобы составить понятие о том, как мог жить и как действительно жил мелкотравчатый герой нашего рассказа Алексашка, или, впоследствии, Александр Афанасьевич Рыжов, по уличному прозвищу «Однодум».

Родители Алексашки имели собственный

дом – один из тех домиков, которые в здешней лесной местности *ничего не стоят*, но, однако, дают кров. Других детей, кроме Алексашки, у приказного Рыжова не было, или, по крайней мере, о них мне ничего не сказано.

Приказный умер вскоре после рождения этого сына и оставил жену и сына ни с чем, кроме того домика, который, как сказано, «ничего не стоил». Но вдова-приказничиха сама дорого стоила: она была из тех русских женщин, которая «в беде не сробеет, спасет; коня на скаку остановит, в горящую избу взойдет»[2], – простая, здравая, трезвомысленная русская женщина, с силою в теле, с отвагой в душе и с нежною способностью любить горячо и верно.

Когда она овдовела, в ней еще были приятности, пригодные для неприхотливого обихода, и к ней кое-кто засылали свах, но она отклонила новое супружество и стала заниматься печеньем пирогов. Пироги изготовлялись по скоромным дням с творогом и печенкою, а по постным – с кашею и горохом; вдова выносила их в ночвах[3] на площадь и продавала по медному пятаку за штуку. От прибы-

ли своего пирожного производства она питала себя и сына, которого отдала в науку «мастерице»; мастерица научила Алексашку тому, что сама знала. Дальнейшую же, более серьезную науку преподавал ему дьяк с косою и с кожаным карманом, в коем у него без всякой табакерки содержался нюхательный порошок для известного употребления.

Дьяк, «отучив» Алексашку, взял горшок каши за выучку, и с этим вдовин сын пошел в люди добывать себе хлеб-соль и все определенные для него блага мира.

Алексашке тогда было четырнадцать лет, и в этом возрасте его можно отрекомендовать читателю.

Молодой Рыжов пороною удался в мать: он был рослый, плечистый, – почти атлет, необъятной силы и несокрушимого здоровья. В свои отроческие годы он был уже первый силач и так удачно предводительствовал *стеною* на кулачных боях, что на которой стороне был Алексашка Рыжов, – та считалась непобедимою. Он был досуж и трудолюбив. Дьякова школа дала ему превосходный, круглый, четкий, красивый почерк, которым он

написал старухам множество заупокойных поминаний и тем положил начало самопитания. Но важнее этого были те свойства, которые дала ему его мать, сообщившая живым примером строгое и трезвое настроение его здоровой душе, жившей в здоровом и сильном теле. Он был, как мать, умерен во всем и никогда не прибегал ни к чьей посторонней помощи.

В четырнадцать лет он уже считал грехом есть материн хлеб; поминания приносили немного, и притом заработок этот, зависящий от случайностей, был непостоянен; к торговле Рыжов питал врожденное отвращение, а оставить Солигалич не хотел, чтобы не разлучаться с матерью, которую очень любил. А потому надо было здесь же промыслить себе занятие, и он его промыслил.

В то время у нас только образовывались постоянные почтовые сообщения: между ближайшими городами учреждались раз в неделю гонцы, которые *носили* суму с пакетами. Это называлась пешая почта. Плата за эту службу назначалась не великая: рубля полтора в месяц «на своих харчах и при своей обу-

ви». Но для кого и такое содержание было заманчиво, те колебались взяться носить почту, потому что для чуткой христианской совести русского благочестия представлялось сомнительным: не заключается ли в такой пустой затее, как разноска бумаги, чего-нибудь еретического и противного истинному христианству?

Всякий, кому довелось о том слышать, – раздумывал, как бы не истравить этим душу и за мзду временную не потерять жизнь вечную. И тут-то вот общее сердоболие устроило Рыжовкина Алексашку.

– Он, – говорили, – сирота: ему больше господь простит, – особенно по ребячеству. Ему, если его на поноске дорогою медведь или волк задерет и он на суд предстанет, одно отвечать: «не разумел, господи», да и только. И в ту пору взять с него нечего. А если да он уцелеет и со временем в лета взойдет, то может в монастырь пойти и все преотлично отмолить, да еще не за своей свечой и при чужом ладане. Чего ему еще по сиротству его ожидать лучшего?

Сам Алексашка, которого это касалось всех

более, был от мира не прочь и на мир не челобитчик: он смелою рукою взял почтовую суму, взвалил ее на плечи и стал таскать из Солигалича в Чухлому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре: он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Борнса[4] или Кольцова, но у Алексашки Рыжова была другая складка, – не поэтическая, а философская, и из него вышел только замечательный чудак «Однодум». Ни даль утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветры и дождь его не пугали; почтовая сумка до такой степени была нипочем его могучей спине, что он, кроме этой сумы, всегда носил с собою еще другую, серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние.

Книга эта была Библия.

Мне неизвестно, сколько лет он нес службу в пешей почте, беспрестанно таская суму и Библию, но, кажется, это было долго и кончилось тем, что пешая почта заменилась конною, а Рыжову «вышел чин». После этих двух важных в жизни нашего героя событий в судьбе его произошел большой перелом: охотный ходок с почтою, он уже не захотел ездить с почтарем и стал искать себе другого места, – опять непременно там же, в Солигаличе, чтобы не расстаться с матерью, которая в то время уже остарела и, притупев зрением, стала хуже печь свои пироги.

Судя по тому, что чины на низших почтовых должностях получались очень не скоро, например лет за двенадцать, – надо думать, что Рыжов имел об эту пору лет двадцать шесть или даже немножко более, и во все это время он только ходил взад и вперед из Солигалича в Чухлому и на ходу и на отдыхе читал одну только свою Библию в затрапезном переплете. Он начитался ее вволю и приобрел в ней большие и твердые познания, лег-

шие в основу всей его последующей оригинальной жизни, когда он стал умствовать и прилагать к делу свои библейские воззрения.

Конечно, во всем этом было много оригинального. Рыжов, например, знал наизусть все писания многих пророков и особенно любил Исайю[5], широкое богословие которого отвечало его душевной настроенности и составляло весь его катехизис[6] и все богословие.

Старый человек, знавший во время своей юности восьмидесятипятилетнего Рыжова, когда он уже прославился и заслужил имя «Однодума», говорил мне, как этот старик вспоминал какой-то «дуб на болоте», где он особенно любил отдыхать и «кричать ветру».

– Стану, – говорит, – бывало, и воплю встречу воздуху:

«Позна вол стяжавшего и осел ясли господина своего, а людие мои неразумеша. Семя лукавое; сыны беззакония! Что еще уязвляе-тесь, прилагая неправды! Всякая глава в болезнь, – всякое сердце в плач. Что ми множество жертв ваших: тука агнцов и крови юниц и козлов не хочу. Не приходите явитися ми.

И аще принесете ми седмидал – всеу; кадило мерзость ми есть. Новомесячий ваших, и суббот, и дне великого не потерплю: поста, и праздности, и новомесячий ваших, и праздников ненавидит душа моя. Егда прострете руки ваши ко мне, отвращу очи мои от вас, и аще умножите моления, – не услышу вас. Измывьтесь, отымите лукавство от душ ваших. Научитесь добро творити, и приидите истяжемся, и аще будут грехи ваши яко багряное – убелю их яко снег. Но князи не покоряются, – общницы татем любяще дары, гоняще воздаяние – сего ради глаголет саваоф: горе крепким, – не престанет бо ярость моя на противныя».[7]

И выкрикивал сирота-мальчуган это «горе, горе крепким» над пустынным болотом, и мнилось ему, что ветер возьмет и понесет слова Исайи и отнесет туда, где виденные Иезекиилем[8] «сухие кости» лежат, не шевелятся; не нарастает на них живая плоть, и не оживает в груди истлевшее сердце.

Его слушал дуб и гады болотные, а он сам делался полумистиком, полуагитатором в библейском духе, – по его словам: «дышал лю-

бовью и дерзновением».

Все это созрело в нем давно, но обнаружилось в ту пору, когда он получил чин и стал искать другого места, не над болотом. Развитие Рыжова было уже совершенно закончено, и наступало время деятельности, в которой он мог приложить правила, созданные им себе на библейском грунте.

Под тем же дубом, над тем же болотом, где Рыжов выкрикивал словами Исаяи «горе крепким», он дождался духа, давшего ему мысль самому сделаться крепким, дабы устыдить крепчайших. И он принял это посвящение и пронес его во весь почти столетний путь до могилы, ни разу не споткнувшись, никогда не захромав ни на правое колено, ни на левое.

Впереди нас ожидает довольно образцов его задохнувшейся в тесноте удивительной силы и в конце сказания неожиданный акт дерзновенного бесстрашия, увенчавший его, как рыцаря, рыцарскою наградой.

В ту отдаленную пору, к которой восходит передаваемый мною рассказ о Рыжове, самое главное лицо в каждом русском городишке был городничий. Не раз было сказано и никем не оспорено, что, по понятию многих русских людей, каждый городничий был «третье лицо в государстве». Государственная власть в народном представлении от первоисточника своего – монарха разветвлялась так: первое лицо в государстве – государь, правящий всем государством; за ним второе – губернатор, который правит губерниею, и потом прямо за губернатором непосредственно следует третье – городничий, «сидящий на городу». Исправников тогда еще не было, и потому о них в разделении власти суждения не полагали. Так это оставалось, впрочем, и впоследствии: исправник был человек разъездной, и он сек только сельских людей, которые тогда еще не имели самостоятельного понятия об иерархии и, кто их ни сек, – одинаково ногами перебирали.

Введение новых судебных учреждений,

ограничившее прежнюю теократическую полноправность[9] сельских администраторов, испортило это, особенно в городах, где оно значительно содействовало падению не только городнического, а даже губернаторского престижа, поднять который на прежнюю высоту уже невозможно, – по крайней мере, для городничих, высокий уряд которых заменен новшеством.

Но тогда, когда обдумывал и решал свою судьбу «Однодум», – все это было еще в своем благоустроенном порядке. Губернаторы сидели в своих центрах, как царьки: доступ к ним был труден, и предстояние им «сопряжено со страхом»; они всем норовили говорить «ты», все им кланялись в пояс, а иные, по усердию, даже земно; протопопы их «сретали»[10] с крестами и святою водою у входа во храмы, а подрукавная знать чествовала их выражением низменного искательства и едва дерзала, в лице немногих избранных своих представителей, просить их «в восприемники к купели». И они, даже когда соглашались снизойти до такой милости, держали себя царственно: они не ездили крестить сами, а посылали

вместо себя чиновников особых поручений или адъютантов, которые отвозили «ризки» и принимали почет «в лице пославшего». Все тогда было величественно, степенно и серьезно, под стать тому доброму и серьезному времени, часто противопоставляемому нынешнему времени, не доброму и не серьезному.

Рыжову вышла прекрасная линия приблизиться к началу градской власти и, не расставаясь с родным Солигаличем, стать на четвертую ступень в государстве: в Солигаличе умер старый квартальный, и Рыжов задумал проситься на его место.

Квартальническое место, хотя и не очень высокое, несмотря на то, что составляло первую ступень ниже городничего, было, однако, довольно выгодно, если только человек, его занимающий, хорошо умел стащить с каждого воза полено дров, пару бураков или кочан капусты; но если он не умел этого, то ему было бы плохо, так как казенного жалования по этой четвертой в государстве должности полагалось всего десять рублей ассигнациями в месяц, то есть около двух рублей восьмидесяти пяти копеек по нынешнему счету. На это четвертая особа в государстве должна была прилично содержать себя и свою семью, а как это невозможно, то каждый квартальный «донимал» с тех, которые обращались к нему за чем-нибудь «по касающемуся делу». Без этого «донимания» невозможно было обходиться, и даже сами вольтеррианцы против этого не восставали.[11] О «неберущем» квартальном никто и не думал, и потому если все квартальные брали, то должен был брать и Рыжов. Само начальство не

могло желать и терпеть, чтобы он портил служебную линию. В этом не могло быть никакого сомнения, и не могло быть о том никакой речи.

Городничий, к которому Рыжов обратился за кварталничьим местом, разумеется, не задавал себе никакого вопроса о его способности к взятке. Вероятно, он думал, что на этот счет Рыжов будет, как все другие, и потому у них особого договора на этот счет не было. Городничий принял в соображение только его громадный рост, осанистую фигуру и пользовавшуюся большою известностью силу и неутомимость в ходьбе, которую Рыжов доказал своим пешим ношением почты. Все это были качества, очень подходящие для полицейской службы, которой добивался Рыжов, — и он был сделан солигаличским кварталным, а мать его продолжала печь и продавать свои пироги на том самом базаре, где сын ее должен был установить и держать добрые порядки: блюсти вес верный и меру полную и утрясенную.

Городничий сделал ему только одно внушение:

– Бей без повреждения и по касающемуся моего не захватывай.

Рыжов обязался это исполнять и пошел действовать, но вскоре же начал подавать о себе странные сомнения, которые стали тревожить третью особу в государстве, а самого бывшего Алексашку, а ныне Александра Афанасьевича, доводить до весьма тягостных испытаний.

Рыжов с первого же дня службы оказался по должности ретив и исправен: придя на базар, он разместил там возы; рассадил иначе баб с пирогами, поместя притом свою мать не на лучшее место. Пьяных мужиков частью урезонил, а частью поучил рукою властною, но с приятностью, так хорошо, как будто им этим большое одолжение сделал, и ничего не взял за науку. В тот же день он отверг и приношение капустных баб, пришедших к нему на поклон по касающемуся, и еще объявил, что ему по касающемуся ни от кого ничего и не следует, потому что за все его касающееся ему «царь жалует, а мзду братъ бог запрещает».

День провел Рыжов хорошо, а ночь провел еще лучше: обошел весь город, и кого застал

на ходу в поздний час, расспросил: откуда, куда и по какой надобности? С добрым человеком поговорил, сам его даже проводил и посоветовал, а одному-другому пьяному ухо надрал, да будошникову жену, которая под ковров колдовать ходила, в кутузку запер, а наутро явился к городничему с докладом, что видит себе в деле одну помеху в будошниках.

– Проводят, – говорит, – они время в праздности и спросонья ходят без надобности, – людям по касающему надоедают и сами портятся. Лучше их от ленивой пустоты отрешить и послать к вашему высокоблагородию в огород гряды полоть, а я один все управлю.

Городничему это было не вопреки, а домовитой городничихе совсем по сердцу; одним будошникам могло не нравиться, да закону не соответствовало; но будошников кто думал спрашивать, а закон... городничий судил о нем русским судом: «закон – что конь: куда надо – туда и вороти его». Александр же Афанасьевич выше всего ставил закон: «в поте лица твоего ешь хлеб твой», и по тому закону выходило, что всякие лишние «приставники» – бремя ненужное, которое надо отста-

вить и приставить к какому бы то ни было другому настоящему делу, – «потному».

И учредилось это дело, как указал Рыжов, и было оно приятно в очах правителя и народа, и обратило к Рыжову сердца людей благодарных. А Рыжов сам ходит по городу днем, ходит один ночью, и мало-помалу везде стал чувствоваться его добрый хозяйский досмотр, и опять было это приятно в очах всех. Словом, все шло хорошо и обещало покой невозмутимый, но тут-то и беда: не сварился народ – не кормил воевод, – ниоткуда ничто не касалось, и, кроме уборки огорода, не было правителю прибылей ни больших, ни средних, ни малых.

Городничий возмутился духом, вник в дело, увидел, что этак невозможно, и воздвиг на Рыжова едкое гонение.

Он попросил протопопа разузнать, нет ли в бескасательном Рыжове какого неправославия, но протопоп отвечал, что явного неправославия в Рыжове он не усматривает, а замечает в нем некую гордыню, происходящую, конечно, от того, что его мать пироги печет и ему отделяет.

– Пресечь советую оный торг, ей ныне по сыну не подобающий, и уничтожится тогда ему оная его непомерная гордыня, и он прикоснется.

– Пресеку, – отвечал городничий и сказал Рыжову: – Твоей матери на торгу сидеть не годится.

– Хорошо, – отвечал Рыжов и взял мать с ночвами с базара, а в укоризненном поведении остался по-прежнему, – не прикасался.

Тогда протопоп указал, что Рыжов не справлял себе форменного платья, и в пасхальный день, скупно похристосовавшись с одними ближними, не явился с поздравлением ни к кому из именитых граждан, на что те, впрочем, претензии не изъявляли.

Это находилось в зависимости одно от другого. Рыжов не ходил за праздничными, и потому ему не на что было обмундироваться, но обмундировка требовалась, и она была у прежнего квартального. Все видели у него и мундир с воротом, и ретузы, и сапоги с кисточкой, а этот как ходил с почтою, так и оставался в полосатом тиковом бешмете с крючками, в желтых нанковых штанах и в

простой крестьянской шапке, а на зиму имел овчинный нагольный тулуп и ничего иного не заводил, да и не мог завести на 2 руб. 87 коп. месячного жалованья, на которое жил, служа верою и правдою.

К тому же произошел случай, потребовавший денег: умерла мать Рыжова, которой нечего было делать на земле после того, как она не могла на ней продавать пироги.

Александр Афанасьевич схоронил ее, по общему отзыву, «скаречно», чем и доказал свою нелюбовь. Он заплатил за нее причту по малости, но по самой-то пирожнице даже пирога не спек и сорокоуста[12] не заказал.

Еретик! И это было тем достовернее, что хотя городничий ему не доверял и протопоп в нем сомневался, но и городничиха и протопопица за него горой стояли, – первая за пригон на ее огород бударей, а вторая по какой-то тайной причине, лежавшей в ее «характере сопротивления».

В этих особах Александр Афанасьевич имел защитниц. Городничиха сама ему послала от урожая земного две меры картофеля, но он, не развязывая мешков, принес карто-

фель назад на своих плечах и коротко сказал:

– За усердие благодарю, а даров не приемлю.

Тогда протопопица, дама мнительная, поднесла ему две коленкоровые манишки своего древнего рукоделья от тех пор, когда еще протопоп был ставленником, но чудака и этого не взял.

– Нельзя, – говорит, – дары брать, да и, одеваясь по простоте, я никакой в сем щегольстве пользы не нахожу.

Тут и сказала протопопица мужу в злости задорное слово.

– Вот бы, – говорит, – кому пристало у алтаря стоять, а не вам, обиралам духовным.

Протопоп осердился, – велел жене молчать, а сам все лежал да думал:

«Это новость масонская, и если я ее услежу и открою, то могу быть в большом отличии и даже могу в Петербург переехать».

Так он этим забредил и с бреда составил план, как обнажить совесть Рыжова до разделения души с телом.

Подходил великий пост[13], и протопоп, как на ладонке, видел, каким образом он обнажит душу Рыжова до разделения и тогда будет знать, как поступить с ним по злобе его уклонения от истин православия.

С этою целью он прямо присоветовал городничему прислать к нему на дух полосатого квартального на первой же неделе. А на духу он обещал его хорошенько пронять и, гневом Божиим припугнув, все от него выведать, что в нем есть тайного и сокровенного и за что он всего касающегося чуждается и даров не приемлет. А затем сказал:

– Увидим по открытому страхом виду его совести, чему он подлежать будет, и тому его и подвергнем, да спасется дух.

Помянув слова Павла, протопоп стал ждать покойно, зная, что в них кийждо своя отыскать может.

Городничий тоже сделал свое дело.

– Нам с тобой, Александр Афанасьевич, как видным лицам в городе, – сказал он, – надо в народе религии пример показать и к церкви

сделать почтение.

Рыжов отвечал, что он согласен.

– Изволь же, братец, говеть и исповедаться.

– Согласен, – отвечал Рыжов.

– И как оба мы люди на виду у всех, то и на виду все это должны сделать, а не как-нибудь прячучись. Я к протопопу на дух хожу, – он всех в духовенстве опытнее, – и ты к нему иди.

– Пойду к протопопу.

– Да; и иди ты на первой неделе, а я на последней пойду, – гак и разделимся.

– И на это согласен.

Протопоп выисповедал Рыжова и даже похвалился, что на все корки его пробрал, но не нашел в нем греха к смерти.

– Каялся, – говорит, – в одном, другом, в третьем, – во всем не свят по малости, но грехи все простые, человеческие, а против начальства особого зла не мыслит и ни на вас, ни на меня «по касающему» доносить не думает. А что «даров не приемлет», – то это по одной вредной фантазии.

– Все же, значит, есть в нем вредная фанта-

зия. А в чем она заключается?

– Библии начитался.

– Ишь его, дурака, угораздило!

– Да; начитался от скуки и позабыть не может.

– Экий дурак! Что же теперь с ним сделать?

– Ничего не сделаешь: он уже очень далеко начитан.

– Неужели до самого до «Христа» дошел?

– Всю, всю прочитал.

– Ну, значит, шабаш.

Пожалели и стали к Рыжову милостивее. На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и «до Христа дочитался», с того резонных поступков строго спрашивать нельзя; но зато этакие люди что юродивые, – они чудесят, а никому не вредны, и их не боятся. Впрочем, чтобы быть еще обеспеченнее насчет странного исправления Рыжова «по касающему», отец протопоп преподал городничему мудрый, но жестокий совет, – чтобы женить Александра Афанасьевича.

– Женатый человек, – развивал протопоп, – хотя и «до Христа дочитается», но ему свою

честность соблюсти трудно: жена его начнет нажигать и не тем, так другим манером так дойдет, что он ей уступит и всю Библию из головы выпустит, а станет к дарам приемчив и начальству предан.

Городничему совет пришел по мыслям, и он заказал Александру Афанасьевичу, чтобы тот как знает, а непременно женился, потому что холостые люди на политических должностях ненадежны.

– Как хочешь, – говорит, – брат, а ты мне в рассуждении всего хорош, но в рассуждении одного не годишься.

– Почему?

– Холостой.

– Что же в том за укоризна?

– В том укоризна, что можешь что-нибудь вероломное сделать и сбежать в чужую губернию. Тебе ведь теперь что? – схватил свою бибель да и весь тут.

– Весь тут.

– Вот это и неблагонадежно.

– А разве женатый благонадежнее?

– И сравнения нет; из женатого я, – говорит, – хоть веревку вей, он все стерпит, пото-

му что он птенцов заведет, да и бабу пожалеет, а холостой сам что птица, – ему доверить нельзя. Так вот – либо уходи, либо женись.

Загадочный чудак, выслушав такое рассуждение, нимало не смутился и отвечал:

– Что же, – и женитьба вещь добрая, она от бога показана: если требуется – я женюсь.

– Но только ты руби дерево по себе.

– По себе вырублю.

– И выбирай поскорее.

– Да у меня уже выбрана: надо только сходить посмотреть, не взяли ли ее другие.

Городничий над ним посмеялся:

– Ишь ты, – говорит, – греховодник, – будто за ним и греха никогда не водится, а он себе уже и жену высмотрел.

– Где грехам не водиться! – отвечал Александр Афанасьевич, – полон сосуд мерзости, а только невесту я еще не сватал, но действительно на примете имею и прошу позволения сходить на нее взглянуть.

– А где она у тебя, – не здешняя, верно, – дальняя?

– Да так, и не здешняя и не дальняя, – у ручья при болотце живет.

Городничий еще посмеялся, отпустил Рыжова и, заинтересованный, ждет: когда его чудака вернется и что скажет?

Рыжов действительно срубил дерево по себе: через неделю он привел в город жену – ражую, белую, румяную, с добрыми карими глазами и с покорностью в каждом шаге и движении. Одета она была по-крестьянски, и шли оба супруга друг за другом, неся на плечах коромысло, на котором висела подвязанная холщовым концом расписная лубочная коробья с приданым.

Бывалые торговые люди сразу узнали в этой особе дочь старой бабы Козлихи, что жила в одинокой избушке у ручья над болотом и слыла злою колдуньей. Все думали, что Рыжов взял себе колдуньюину девку в работницы.

Это отчасти так и было, но только Рыжов, прежде чем привести эту работницу домой, – перевенчался с нею. Супружеская жизнь обходилась ему ничуть не дороже холостой; напротив, теперь ему стало даже выгоднее, потому что он, приведя в дом жену, тотчас же отпустил батрачку, которой много ли, мало ли, а все-таки платил рубль медью в месяц. С этих пор медный рубль был у него в кармане,

а хозяйство пошло лучше; здоровые руки его жены никогда не были праздны: она себе и пряла и ткала, да еще оказалась мастерицею валять чулки и огородничать. Словом, жена его была простая досужая крестьянская женщина, верная и покорная, с которою библейский чудак мог жить по-библейски, и рассказать о ней, кроме сказанного, нечего.

Обращение с женою у Александра Афанасьевича было самое простое, но своеобразное: он ей говорил «ты», а она ему «вы»; он звал ее «баба», а она его Александр Афанасьевич; она ему служила, а он был ее господин; когда он с нею заговаривал, она отвечала, – когда он молчал, она не смела спрашивать. За столом он сидел, а она подавала, но ложе у них было общее, и, вероятно, это было причиною, что у них появился плод супружества. Плод был один-единственный сын, которого «баба» выкормила, а в воспитание его не вмешивалась.

Любила ли «баба» своего библейского мужа или не любила – это в их отношениях ничем не проявлялось, но что она была верна своему мужу – это было несомненно. Кроме того, она его боялась, как лица, поставленно-

го над нею законом божеским и имеющего на нее божественное право. Мирному житию ее это не мешало. Грамоте она не знала, и Александр Афанасьевич не желал пополнять этого пробела в ее воспитании. Жили они, разумеется, спартански, в самой строгой умеренности, но не считали это несчастьем; этому, может быть, много помогало, что и многие другие жили вокруг не в большем довольстве. Чаю они не пили и не содержали его в заводе, а мясо ели только по большим праздникам – в остальное же время питались хлебом и овощами, квасными или свежими с своего огорода, а всего более грибами, которых росло в изобилии в их лесной стороне. Грибы эти «баба» летнею порою сама собирала по лесам и сама готовила впрок, но, к сожалению ее, заготавливала их только одним способом сушения. Солить было нечем. Расход на соль в потребном количестве для всего запаса не входил в расчет Рыжова, а когда «баба» однажды насолила кадочку груздей солью, которую ей подарил в мешочке откупщик, то Александр Афанасьевич, дознавшись об этом, «бабу» патриархально побил и свел к

протопопу для наложения на нее епитимий за послушание против заветов мужа, а грибы целою кадкою собственноручно прикатил к откупщикову двору и велел взять «куда хотят», а откупщику сделал выговор.

Таков был этот чудака, про которого из долготы его дней тоже рассказывать много нечего; сидел он на своем месте, делал свое маленькое дело, не пользуясь ничьим особенным сочувствием, и ничьего особенного сочувствия не искал; солигаличские верховоды считали его «поврежденным от Библии», а простецы судили о нем просто, что он «такой-некий-этакой».

Довольно неясное определение это для них имело значение ясное и понятное.

Рыжов нимало не заботился, что о нем думают: он честно служил всем и особенно не угождал никому; в мыслях же своих отчитывался единому, в кого неизменно и крепко верил, именуя его учредителем и хозяином всего сущего. Удовольствие Рыжова состояло в исполнении своего долга, а высший духовный комфорт – философствование о высших вопросах мира духовного и об отражении за-

конов того мира в явлениях и в судьбах отдельных людей и целых царств и народов. Не имел ли Рыжов общей многим самоучкам слабости считать себя всех умнее – это неизвестно, но он не был горд, и своих верований и взглядов он никому никогда не навязывал и даже не сообщал, а только вписывал в большие тетради синей бумаги, которые подшивал в одну обложку с многозначительной надписью: «Однодум».

Что было написано во всей этой громаднейшей рукописи полицейского философа – осталось сокрытым, потому что со смертью Александра Афанасьевича его «Однодум» пропал, да и по памяти о нем много никто рассказать не может. Едва только два-три места из всего «Однодума» были показаны Рыжовым одному важному лицу при одном необычайном случае его жизни, к которому мы теперь приближаемся. Остальные же листы «Однодума», о существовании которого знал почти весь Солигалич, изведены на оклейку стен или, может быть, и сожжены, во избежание неприятностей, так как это сочинение заключало в себе много несообразного бреда и

религиозных фантазий, за которые тогда и автора и чтецов посылали молиться в Соловецкий монастырь[14].

Дух же этой рукописи стал известен с наступающего достопамятного в хрониках Солигалича происшествия.

Не могу с точностью вспомнить и не знаю, где справится, в котором именно году в Кострому был назначен губернатором Сергей Степанович Ланской[15], впоследствии граф и известный министр внутренних дел. Сановник этот, по меткому замечанию одного его современника, «имел сильный ум и надменную фигуру», и такая краткая характеристика верна и вполне достаточна для представления, какое нужно иметь о нем нашему читателю.

Можно, кажется, добавить только, что Ланской уважал в людях честность и справедливость и сам был добр, а также любил Россию и русского человека, но понимал его барственно, как аристократ, имевший на все чужеземный взгляд и западную мерку.

Назначение Ланского губернатором в Кострому случилось во время чудаческого служения Александра Афанасьевича Рыжова солигаличским кварталным, и притом еще при некоторых особенных обстоятельствах.

По вступлении Сергея Степановича в

должность губернатора он, по примеру многих деятелей, прежде всего «размел губернию», то есть выгнал со службы великое множество нерадивых и злоупотреблявших своею должностью чиновников, в числе коих был и солигаличский городничий, при котором состоял кварталным Рыжов.

По изгнании со службы негодных лиц новый губернатор не спешил замещать их другими, чтобы не попасть, на таких же, а может быть, еще и на худших. Чтобы избрать людей достойных, он хотел оглядеться, или, как нынче по-русски говорят, «ориентироваться».

С этою целью должности удаленных лиц были поручены временным заместителям из младших чиновников, а губернатор вскоре же предпринял объезд всей губернии, затрепетавшей странным трепетом от одних слухов о его «надменной фигуре».

Александр Афанасьевич исправлял должность городничего. Что он делал на этом заместительстве отменного от прежних «сталых» порядков, — этого не знаю; но, разумеется, он не брал взяток на городничестве, как не брал их на своем кварталничестве. Образа

жизни своей и отношений к людям Рыжов тоже не менял, – даже не садился на городнический стул перед зеркало[16], а подписывался «за городничего», сидя за своим изъеденным чернилами столиком у входной двери. Этому последнему упорству Рыжов имел объяснение, находящееся в связи с апофеозом его жизни. У Александра Афанасьевича и после многих лет его службы точно так же, как и в первые дни его квартальничества, *не было форменного платья*, и он правил «за городничего» все в том же просаленном и перештопанном бешмете. А потому на представления письмоводителя пересесть на место он отвечал:

– Не могу, хитон обличает мл, яко несть брачен.

Все это так и было записано им собственною рукою в его «Однодуме», с добавлением, что письмоводитель предлагал ему «пересесть в бешмете, но снять орла на зеркале», однако Александр Афанасьевич «оставил сию непристойность» и продолжал сидеть на прежнем месте в бешмете.

Делу полицейской расправы в городе эта

неформенность не мешала, но вопрос становился совершенно иным, когда пришла весть о приезде «надменной фигуры». Александр Афанасьевич в качестве градоначальника должен был встретить губернатора, принять и рапортовать ему о благосостоянии Солигалича, а также отвечать на все вопросы, какие Ланской ему предложит, и репрезентовать ему все достопримечательности города, начиная от собора до тюрьмы, пустырей, оврагов, с которыми никто не знал, что делать.

Рыжов действительно имел задачу: как ему отбыть все это в своем бешмете? Но он об этом нимало не заботился, зато много забот причиняло это всем другим, потому что Рыжов своим безобразием мог на первом же шагу прогневить «надменную фигуру». Никому и в голову не приходило, что именно Александру-то Афанасьевичу и предстояло удивить и даже *обрадовать* всех пугавшую «надменную фигуру» и даже напорочить ему повышение.

Вообще заботливый Александр Афанасьевич нимало не смущался, как он явится, и совсем не разделял общей чиновничьей рабо-

сти, через что подвергся осуждению и даже ненависти и пал во мнении своих сограждан, но пал с тем, чтобы потом встать всех выше и оставить по себе память героическую и почти баснословную.

Не излишне еще раз напомнить, что в те недавние, но глубоко провалившиеся времена, к которым относится рассказ о Рыжове, губернаторы были совсем не то, что в нынешние лукавые дни, когда величие этих сановников значительно пало или, по выражению некоего духовного летописца, «жестoko подвалишася». Тогда губернаторы ездили «страшно», а встречали их «притрепетно». Течение их совершалось в грандиозной суете, которой работали не только все младшие начальства и власти, но даже и чернь и четвероногие скоты. Города к приезду губернаторов воспринимали помазание мелом, сажей и охрою; на шлагбаумы заново наводилась национальная пестрядь казенной трехцветки; бударям и инвалидам внушали «голова и усы наваксить», – из больниц шла усиленная выписка в «оздоровку». Во всеобщем оживлении участвовало все до конец земли; из деревень на тракты стоняли баб и мужиков, которые по месяцам кочевали, чиня дорожные топи, гати и мосты; на станциях замедляли даже

оглашенные курьеры и разные поручики, спешно едущие по бесчисленным казенным надобностям. Станционные смотрители в эту пору отмещивали беспокойному люду свои нестерпимые обиды и с непоколебимою душевною твердостью заставляли плестись на каких попало клячах, потому что хорошие лошади «выстаивались» под губернатора. Словом, не было никому ни проходу, ни проезду без того, чтобы он не осязал каким-нибудь из своих чувств, что в природе всех вещей происходит нечто чрезвычайное. Благодаря этому тогда без всякого пустозвонства болтливой прессы всяк, стар и млад, знали, что едет тот, кого нет на всю губернию больше, и все, кто как умел, выражали по этому случаю искреннему своему разнообразные свои чувства. Но самая возвышенная деятельность происходила в центральных гнездах уездного властелинства – в судебных канцеляриях, где дело начиналось с утомительной и скучной отметки регистров, а кончалось веселою операциею обметания стен и мытья полов. Поломойство – это было что-то вроде классических оргий в дни сбирания винограда, когда все на-

пряженно ликовало, имея одну заботу: пожить, пока наступит час смертный. В канцелярии за небольшим конвоем кривых инвалидов доставляли из острога смертную скукою соскучившихся арестанток, которые, ловя краткий миг счастья, пользовались здесь пленительными правами своего пола – улаживать долю смертных. Декольте и маншкорт[17], с которыми они приступали к работе, столь возбuditельно действовали на дежуривших при бумагах молодых приказных, что последствием этого, как известно, в острогах нередко появлялись на свет так называемые «поломойные дети» – не признанного, но несомненно благородного происхождения.

В эти же дни в домах чернили парадные сапоги, белили ретузы и приготавливали слежавшиеся и поточенные молью мундиры. Это тоже оживляло город. Мундиры сначала *проवेशивали* в жаркий день на солнышке, раскидывая их на протянутых через двор веревках, что ко всяким воротам привлекало множество любопытных; потом мундиры *выбивали* прутьями, растянув на подушке или на войлочке; затем их трясли, еще позже их *што-*

пали, утюжили и, наконец, раскидывали на кресле в зале или другой парадной комнате, в заключение всего – в конце концов их втихомолку кропили из священных бутылочек богоявленскою водой, которая, если ее держать у образа в заткнутой воском посудине, не портится от одного крещеньева дня до другого и нимало не утрачивает чудотворной силы, сообщаемой ей в момент погружения креста с пением «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое».

Исходя в сретение особ, чиновники облекались в окропленные мундиры и в качестве прочего божия достояния бывали спасаемы. Об этом есть много достоверных сказаний, но при нынешнем всеобщем маловерии и особенно при оффенбаховском[18] настроении, царящем в чиновном мире, все это уже уронено в общем мнении и в числе многих других освященных временем вещей легкомысленно подвергается сомнению; отцам же нашим, имевшим настоящую, крепкую веру, давалось по их вере.

Ожидание губернатора в те времена длилось долго и мучительно. Железных дорог то-

гда еще не было, и поезда не подходили в урочный час по расписанию, подвозя губернатора вместе со всеми прочими смертными, а особо заготовлялся тракт, и затем никто не знал с точностью ни дня, ни часа, когда санивник пожалует. Поэтому истома ожидания была продолжительна и полна особенной торжественной тревожности, на самом зените которой находился очередной будочник, обязанный наблюдать тракт с самой высшей в городе колокольни. Он должен был не задремать, охраняя город от внезапного наезда; но, конечно, случалось, что он дремал и даже спал, и тогда в таких несчастных случаях бывали разные неприятности. Иногда нерадивый страж ударял в малый колокол, подпустив губернатора уже на слишком близкую дистанцию, так что не все чиновники успевали примундириться и выскочить, протопоп облачиться и стать со крестом на сходах, а иногда даже городничий не успевал выехать, стоя в телеге, к заставе. Во избежание этого сторожа заставляли ходить вокруг колокольни и у каждого пролета делать поклон в соответственную сторону.

Это служило сторожу развлечением, а обществу ручательством, что бдящий над ним не спит и не дремлет. Но и эта предосторожность не всегда помогала; случалось, что сторож обладал способностью альбатроса: он спал, ходя и кланяясь, а спросонья бил ложный всполох, приняв за губернатора помещицью карету, и тогда в городе поднималось напрасное смятение, оканчивавшееся тем, что чиновники снова размундировались и городническая тройка откладывалась, а неосмотрительного стража слегка или не слегка секли.

Подобные трудности встречались часто и преодолевались нелегко, и притом всю свою тягостью главным образом лежали на городничем, который вперед всех выносился вскачь навстречу, первый принимал на себя начальственные взоры и взрывы и потом опять, стоя же, скакал впереди губернаторской кареты к собору, где у крыльца ожидал протопоп во всем облачении с крестом и кропилом в чаше священной воды. Здесь городничий непременно собственноручно откидывал губернаторскую подножку и этим прие-

мом, так сказать, собственноручно выпускал прибывшую высокую особу на родимую землю из путешественного ковчега. Теперь все это уже не так, все это попорчено, и притом едва ли даже без участия самих губернаторов, в числе коих были охотники «играть на понижение». Нынче они, может быть, и каются, но что уплыло, того не воротят: подножек им никто не откидывает, кроме лакеев и жандармов.

Но исправлявший эту обязанность прежний городничий этим не стеснялся и служил для всех первым пробным камнем; он первый изведывал: лют или благостен прибывший губернатор. И, надо правду сказать, от городничего многое зависело: он мог испортить дело вначале, потому что одною какою-нибудь своею неловкостью мог разгневать губернатора и заставить его рвать и метать; а мог также одним ловким прыжком, оборотом или иным соответственным вывертом привести его превосходительство в благорасположение.

Теперь каждый, даже не знавший этих патриархальных порядков, читатель может

судить, как естественна была тревога солигаличской чиновной знати, которой пришлось иметь своим представителем такого своеобразного, неуклюжего и упрямого городничего, как Рыжов, у которого, вдобавок ко всем его личным неудобным качествам, весь убор состоял в полосатом тиковом бешмете и кошлатой мужичьей шапке.

Вот что первое должно было ударить прямо в очи «надменной фигуре», о которой уже досужие языки довели до Солигалича самые страшные вести... Чего было ожидать доброго?

Александр Афанасьевич действительно мог привести кого хотите в отчаяние; он ни о чем не беспокоился и в ожидании губернатора держал себя так, как будто предстоявшее страшное событие его совсем не касалось. Он не сломал ни у одного жителя ни одного забора, ничего не перемазал ни мелом, ни охрою и вообще не предпринимал никаких средств не только к украшению города, но и к изменению своего несообразного костюма, а продолжал прохаживаться в бешмете. На все предлагаемые ему прожекты он отвечал:

– Не должно вводить народ в убытки: разве губернатор изнуритель края? он пусть проедет, а забор пусть останется. – Требования же насчет мундира Рыжов отражал тем, что у него на то нет достатков и что, говорит, имею, – в том и являюсь: богу совсем нагишом предстану. Дело не в платье, а в рассудке и в совести, – по платью встречают – по уму провожают.

Переупрямить Рыжова никто не надеялся, а между тем это было очень важно не столько

для упрямаца Рыжова, которому, может быть, и ничего, с его библейской точки зрения, если его второе лицо в государстве сгонит с глаз долой в его бешмете; но это было важно для всех других, потому что губернатор, конечно, разгневадается, увидя такую невидаль, как городничий в бешмете.

Дорожа первым впечатлением ожидаемого гостя, солигаличские чины добивались только двух вещей: 1) чтобы был перекрашен шлагбаум, у которого Александр Афанасьевич должен встретить губернатора, и 2) чтобы сам Александр Афанасьевич был на этот случай не в полосатом бешмете, а в приличной его званию форме. Но как этого достигнуть?

Мнения были различные, и более склонялись все к тому, чтобы и шлагбаум перекрасить, и городничего одеть в складчину. В отношении шлагбаума это было, конечно, удобно, но по отношению к обмундировке Рыжова никуда не годилось.

Он сказал: «Это дар, а я даров не приемлю». Тогда восторжествовало над всеми предложение, которое подал зрелый в сужденье отец протопоп. Он не видал нужды ни в какой

складчине ни на окраску заставы, ни на форму градоправителя, а сказал, что все должно лечь на того, кто всех провиннее, а всех провиннее, по его мнению, был откупщик. На него все должно и пасть. Он один обязан на свой собственный счет не по неволе какой, а из усердия окрасить заставу, за что протопоп обещал, сретая губернатора, упомянуть об этом в кратком слове и, кроме того, помолиться о жертвователе в тайноглаголемой за престольной молитве. Кроме того, отец протопоп рассудил, что откупщик должен дать заседателю, сверх ординарии, тройную порцию рому, французской водки и кизлярки, до которых заседатель охоч. И пусть заседатель за то отрапортуется больным и пьет себе дома эту добавочную ординарию и на улицу не выходит, а свой мундир, одной с полицейским формы, отпустит Рыжову, от чего сей последний, вероятно, не найдет причины отказать, и будут тогда и овцы целы, и волки сыты.

План этот тем более был удачен, что непременный заседатель ростом-дородством несколько походил на Рыжова, и притом, же-

нясь недавно на купеческой дочери, имел мундирную пару в полном порядке. Следовательно, оставалось только упросить его, чтобы он для общего блага к приезду начальства слег в постель под видом тяжелой болезни и сдал свою амуницию на этот случай Рыжову, которого отец протопоп, надеясь на свой духовный авторитет, тоже взялся убедить – и убедил. Не видя в этом ни даров, ни мзды, справедливый Александр Афанасьевич, для общего счастья, согласился надеть мундир. Произведена была примерка и пригонка форменной пары заседателя на Рыжова, и после некоторого выпуска со всех сторон всех запасов в мундире и в ретузах дело было приведено к удовлетворительному результату. Александр Афанасьевич хотя чувствовал в мундире весьма стеснительную связанность, но мог, однако, двигаться и все-таки был теперь сносным представителем власти. Небольшой же белый карниз между мундиром и канифасовыми ретузами положено было закрыть соответственно же канифасовою надшивкою, которою этот карниз был удачно замаскирован. Словом, Александр Афанасьевич был сна-

ряжен так, что губернатор мог повернуть его на все стороны и полюбоваться им так и иначе. Но злему року угодно было все это осмеять и оставить Александру Афанасьевичу надлежащую представительность только с одной стороны, а другую совсем испортить, и при том таким двусмысленным образом, что могло дать повод к самым произвольным толкованиям его и без того загадочного политического образа мыслей.

Шлагбаум был окрашен во все цвета национальной пестряди, состоящей из черных и белых полос с красными отводами, и еще не успел запылиться, как пронеслась весть, что губернатор уже выехал из соседнего города и держит путь прямо на Солигалич. Тотчас же везде были поставлены махальные солдаты, а у забора бедной хибары Рыжова глодала землю резвая почтовая тройка с телегою, в которую Александр Афанасьевич должен был вспрыгнуть при первом сигнале и скакать навстречу «надменной фигуре».

В последнем условии было чрезвычайно много неудобной сложности, исполнявшей все вокруг беспокойной тревогой, которую очень не любил самообладающий Рыжов. Он решился «быть всегда на своем месте»: перевел тройку от своего забора к заставе и сам в полном наряде – в мундире и белых ретузах, с рапортом за бортом, сел тут же на раскрашенную перекладину шлагбаума и водворился здесь, как столпник, а вокруг него собрались любопытные, которых он не прогонял, а на-

против, вел с ними беседу и среди этой беседы сподобился увидеть, как на тракте заключилось пыльное облако, из которого стала вырезаться пара выносных с фореитором, украшенным медными бляхами. Это катил губернатор.

Рыжов быстро спрыгнул в телегу и хотел скакать, как вдруг был поражен общим стоном и вздохом толпы, крикнувшей ему:

– Батюшка, сбрось штанцы!

– Что такое? – переспросил Рыжов.

– Штанцы сбрось, батюшка, штанцы, – отвечали люди. – Погляди-ка, на каком месте сидел, так к белому весь шланбов припечатал.

Рыжов оглянулся через плечо и увидел, что все невысохшие полосы национальных цветов шлагбаума действительно с удивительной отчетливостью отпечатались на его ретузах.

Он поморщился, но сейчас же вздохнул и сказал: «Сюда начальству глядеть нечего» и пустил вскачь тройку навстречу «надменной особе».

Люди только руками махнули:

– Отчаянный! что-то ему теперь будет?

Скороходы из этой же толпы быстро успели сдать знать в собор духовенству и набольшим, в каком двусмысленном виде встретит губернатора Рыжов, но теперь уже всем было самому до себя.

Всех страшнее было протопопу, потому что чиновники притаились в церкви, а он с крестом в руках стоял на сходах. Его окружал очень небольшой причет, из коего вырезались две фигуры: приземистый дьякон с большой головой и длинноногий дьячок в стихаре с священной водою в «апликовой»[19] чаше, которая ходуном ходила в его оробевших руках. Но вот трепет страха сменился окаменением: на площади показалась борзо скачущая тройкою почтовая телега, в которой с замечательным достоинством возвышалась гигантская фигура Рыжова. Он был в шляпе, в мундире с красным воротом и в белых ретузах с надшитым канифасовым карнизом, что издали решительно ничего не портило. Напротив, он всем казался чем-то величественным, и действительно таким и должен был казаться.

Твердо стоя на скачущей телеге, на облучке которой подпрыгивал ямщик, Александр Афанасьевич не колебался ни направо, ни налево, а плыл точно на колеснице как триумфатор, сложив на груди свои богатырские руки и обдавая целым облаком пыли следовавшую за ними шестериком коляску и легкий тарантасик. В этом тарантасе ехали чиновники. Ланской помещался один в карете и, несмотря на отличавшую его солидную важность, был, по-видимому, сильно заинтересован Рыжовым, который летел впереди его, стоя, в кургузом мундире, нимало не закрывавшем разводы национальных цветов на его белых ретузах. Очень возможно, что значительная доля губернаторского внимания была привлечена именно этою странности», значение которой не так легко было понять и определить.

Телега в свое время своротила в сторону, и Александр Афанасьевич в свое время соскочил и открыл дверцу у губернаторской кареты.

Ланской вышел, имея, как всегда, неизменно «надменную фигуру», в которой, впрочем, содержалось довольно доброе сердце. Прото-

поп, осенив его крестом, сказал: «Благословен грядый во имя господне», и затем покропил его легонько священной водою.

Сановник приложился ко кресту, отер батистовым платком попавшие ему на надменное чело капли и вступил *первый* в церковь. Все это происходило на самом виду у Александра Афанасьевича и чрезвычайно ему не понравилось, – все было «надменно». Неблагоприятное впечатление еще более усилилось тем, что, вступив в храм, губернатор не положил на себя креста и никому не поклонился – ни алтарю, ни народу, и шел как шест, не сгибая головы, к амвону.

Это было против всех правил Рыжова по отношению к богопочитанию и к обязанностям высшего быть примером для низших, – и благочестивый дух его всколебался и поднялся на высоту невероятную.

Рыжов все шел следом за губернатором, и по мере того, как Ланской приближался к со-
лее[20], Рыжов все больше и больше сокращал расстояние между ним и собою и вдруг неожиданно схватил его за руку и громко произнес:

– Раб божий Сергей! входи во храм господень не надменно, а смиренно, представляя себя самым большим грешником, – вот как!

С этим он положил губернатору руку на спину и, степенно нагнув его в полный поклон, снова отпустил и стал навтытяжку.

Очевидец, передававший эту анекдотическую историю о солигаличском антике, ничего не говорил, как принял это бывший в храме народ и начальство. Известно только, что никто не имел отваги, чтобы заступиться за нагнутого губернатора и остановить беспрепятственную руку Рыжова, но о Ланском сообщают нечто подробнее. Сергей Степанович не подал ни малейшего повода к продолжению беспорядка, а, напротив, «сменил свою горделивую надменность умным самообладанием». Он не оборвал Александра Афанасьевича и даже не сказал ему ни слова, но перекрестился и, оборотясь, поклонился всему народу, а затем скоро вышел и отправился на приготовленную ему квартиру.

Здесь Ланской принял чиновников – коронных и выборных и тех из них, которые ему показались достойными большего доверия, расспросил о Рыжове: что это за человек и каким образом он терпится в обществе.

– Это наш квартальный Рыжов, – отвечал ему голова.

- Что же он... вероятно, в помешательстве?
- Никак нет: просто всегда *такой*.
- Так зачем же держать *такого* на службе?
- Он по службе хорош.
- Дерзок.
- Самый смиренный: на шею ему старший сядь, – рассудит: «поэтому везть надо» – и повезет, но только он много в Библии начитавшись и через то расстроен.
- Вы говорите несообразное: Библия книга божественная.
- Это точно так, только ее не всякому честь пристойно: в иночестве от нее страсть мечется, а у мирских людей ум мешается.
- Какие пустяки! – возразил Ланской и продолжал расспрашивать:
- А как он насчет взяток: умерен ли?
- Помилуйте, – говорит голова, – он совсем ничего не берет...
- Губернатор еще больше не поверил.
- Этому, – говорит, – я уже ни за что не поверю.
- Нет; действительно не берет.
- А как же, – говорит, – он какими средствами живет?

– Живет на жалованье.

– Вы вздор мне рассказываете: такого человека во всей России нет.

– Точно, – отвечает, – нет; но у нас такой объявился.

– А сколько ему жалованья положено?

– В месяц десять рублей.

– Ведь на это, – говорит, – овцу прокормить нельзя.

– Действительно, – говорит, – мудрено жить – только он живет.

– Отчего же так всем нельзя, а он обходится?

– Библии начитался.

– Хорошо, «Библии начитался», а что же он ест?

– Хлеб да воду.

И тут голова и рассказал о Рыжове, каков он во всех делах своих.

– Так это совсем удивительный человек! – воскликнул Ланской и велел позвать к себе Рыжова.

Александр Афанасьевич явился и стал у притолки, иже по подчинению.

– Откуда вы родом? – спросил его Ланской.

– Здесь, на Нижней улице родился, – отвечал Рыжов.

– А где воспитывались?

– Не имел воспитания... у матери рос, а матушка пироги пекла.

– Учились где-нибудь?

– У дьячка.

– Исповедания какого?

– Христианин.

– У вас очень странные поступки.

– Не замечаю: всякому то кажется странно, что самому не свойственно.

Ланской подумал, что это вызывающий, дерзкий намек, и, строго взглянув на Рыжова, резко спросил:

– Не держитесь ли вы какой-нибудь секты?

– Здесь нет секты: я в собор хожу.

– Исповедуетесь?

– Богу при протопопе каюсь.

– Семья у вас есть?

– Есть жена с сыном.

– Жалованье малое получаете?

Никогда не смеявшийся Рыжов улыбнулся.

– Беру, – говорит, – в месяц десять рублей, а не знаю: как это – много или мало.

– Это не много.

– Доложите государю, что для лукавого раба это мало.

– А для верного?

– Достаточно.

– Вы, говорят, никакими статьями не пользуетесь?

Рыжов посмотрел и промолчал.

– Скажите по совести: быть ли это может так?

– А отчего же не может быть?

– Очень малые средства.

– Если иметь великое обуздание, то и с малыми средствами обойтись можно.

– Но зачем вы не проситесь на другую должность?

– А кто же эту занимать станет?

– Кто-нибудь другой.

– Разве он лучше меня справит?

Теперь Ланской улыбнулся: квартальный совсем заинтересовал его не чуждую теплоты душу.

– Послушайте, – сказал он, – вы чудак; я вас прошу сесть.

Рыжов сел vis-a-vis[21] с «надменным».

– Вы, говорят, знаток Библии?

– Читаю, сколько время позволяет, и вам советую.

– Хорошо; но... могу ли я вас уверить, что вы можете со мною говорить совсем откровенно и по справедливости?

– Ложь заповедью запрещена – я лгать не стану.

– Хорошо. Уважаете ли вы власти?

– Не уважаю.

– За что?

– Ленивы, алчны и пред престолом криводушны, – отвечал Рыжов.

– Да, вы откровенны. Благодарю. Вы тоже пророчествуете?

– Нет; а по Библии вывожу, что ясно следует.

– Можете ли вы мне показать хоть один ваш вывод?

Рыжов отвечал, что может, – и сейчас же принес целый оберток бумаги с надписью «Однодум».

– Что тут есть пророчественного о прошлом и сбывшемся? – спросил Ланской.

Квартальный перемахнул знакомые стра-

ницы и прочитал: «Государыня в переписке с Вольтером назвала его вторым Златоустом. За сие несообразное сравнение жизнь нашей монархини не будет иметь спокойного конца».

На отлинеенном поле против этого места отмечено: «Исполнилось при огорчительном сватовстве Павла Петровича»[22].

– Покажите еще что-нибудь.

Рыжов опять заметал страницы и указал новое место, которое все заключалось в следующем: «Издан указ о попенном сборе[23]. Отныне хлад бедных хижин усилится. Надо ожидать особенного наказания». И на поле опять отметка: «Исполнилось, – зри страницу такую-то», а на той странице запись о кончине юной дочери императора Александра Первого с отметкою: «Сие последовало за назначение налога на лес».

– Но позвольте, однако, – спросил Ланской, – ведь леса составляют собственность?

– Да; а греть воздух в жилье составляет потребность.

– Вы против собственности?

– Нет; я только чтобы всем тепло было в

стужу. Не надо давать лесов тем, кому и без того тепло.

– А как вы судите о податях: следует ли облагать людей податью?

– Надо наложить, и еще прибавить на всякую вещь роскошную, чтобы богатый платил казне за бедного.

– Гм, гм! вы ниоткуда это учение не почерпаете?

– Из Священного писания и моей совести.

– Не руководят ли вас к сему иные источники нового времени?

– Все другие источники не чисты и полны суемудрия.

– Теперь скажите в последнее: как вы не боитесь ни того, что пишете, ни того, что со мною в церкви сделали?

– Что пишу, то про себя пишу, а что в храме сделал, то должен был учинить, цареву власть оберегая.

– Почему цареву?

– Дабы видели все его слуг к вере народной почтительными.

– Но ведь я мог с вами обойтись совсем не так, как обхожусь.

Рыжов посмотрел на него «с сожалением» и отвечал:

– А какое же зло можно сделать тому, кто на десять рублей в месяц умеет с семьей жить?

– Я мог велеть вас арестовать.

– В остроге сытей едят.

– Вас сослали бы за эту дерзость.

– Куда меня можно сослать, где бы мне было хуже и где бы бог мой оставил меня? Он везде со мною, а кроме его, никого не страшно.

Надменная шея склонилась, и левая рука Ланского простерлась к Рыжову.

– Характер ваш почтенен, – сказал он и велел ему выйти.

Но, по-видимому, он еще не совсем доверял этому библейскому социалисту и спросил о нем лично сам несколько простолюдинов.

Те, покрутя рукой в воздухе, в одно слово отвечали:

– Он у нас такой-некий-этакой.

Более положительного из них о нем никто не знал.

Прощаясь, Ланской сказал Рыжову:

– Я о вас не забуду и совет ваш исполню – прочту Библию.

– Да только этого мало, а вы и на десять рублей в месяц жить поучитесь, – добавил Рыжов.

Но этого совета Ланской уже не обещал исполнить, а только засмеялся, опять подал ему руку и сказал:

– Чудак, чудак!

Сергей Степанович уехал, а Рыжов унес к себе домой своего «Однодума» и продолжал писать в нем, что изливали его наблюдательность и пророческое вдохновение.

Со времени проезда Ланского прошло довольно времени, и события, сопровождавшие этот проезд через Солигалич, уже значительно позабылись и затерлись ежедневною сутолокою, как вдруг нежданно-негаданно, на дивное диво не только Солигаличу, а всей просвещенной России, в обревизованный город пришло известие совершенно невероятное и даже в стройном порядке правления невозможное: квартальному Рыжову был прислан дарующий дворянство владимирский крест – первый владимирский крест, пожалованный квартальному.

Самый орден приехал вместе с предписанием возложить его и носить по установлению. И крест и грамота были вручены Александру Афанасьевичу с объявлением, что удостоен он сея чести и сего пожалования по представлению Сергея Степановича Ланского.

Рыжов принял орден, посмотрел на него и проговорил вслух:

– Чудак, чудак! – А в «Однодуме» против имени Ланского отметил: «Быть ему гра-

фом», – что, как известно, и исполнилось. Но носить же ордена Рыжову было *не на чем*.

Кавалер Рыжов жил почти девяносто лет, аккуратно и своеобразно отмечая все в своем «Однодуме», который, вероятно, издержан при какой-нибудь уездной реставрации на оклейку стен. Умер он, исполнив все христианские требы по установлению православной церкви, хотя православие его, по общим замечаниям, было «сомнительно». Рыжов и в вере был человек такой-некий-этакой, но при всем том, мне кажется, в нем можно видеть кое-что кроме «одной дряни», – чем и да будет он помянут в самом начале розыска о «трех праведниках».

Примечания

Имеется в виду «Всеобщий географический и статистический словарь кн. С.П.Гагарина». М., 1843.

[^^^]

2

Из поэмы Н.А.Некрасова «Мороз Красный нос» (ч. I, гл. IV. У Некрасова: «в горящую избу войдет»).

[^^^]

Ночвы – лотки.

[^^^]

4

Бернс Роберт (1759–1796) – великий шотландский поэт.

[^^^]

5

Пророк Исайя – библейский пророк, выступавший с критикой богачей и правителей.

[^^^]

6

Катехизис (греч. – наставление) – изложение христианского вероучения в вопросах и ответах.

[^^^]

Не совсем точная цитата из Книги пророка
Исайи (I гл.).

[^^^]

Иезекииль – библейский пророк, который якобы видел ожившие по воле бога «сухие кости».

[^^^]

Теократия (греч.) – форма правления, при которой духовенству принадлежит политическая власть.

[^^^]

Сретали (старослав.) – встречали.

[^^^]

Неточно приведенные слова городничего из «Ревизора» Н.В.Гоголя. У Гоголя: «и вольтерьянцы напрасно против этого говорят» (д. I, явл. I).

[^^^]

12

Сорокоуст – сорокодневная молитва в церкви по умершим.

[^^^]

Великий пост – шесть недель поста перед пасхой.

[^^^]

То есть ссылали.

[^^^]

Ланской Сергей Степанович (1787–1862) – ко-
стромской губернатор в первой половине 30-х
годов, с 1855 по 1861 год – министр внутрен-
них дел России.

[^^^]

Зерцало – трехгранная призма с тремя указани Петра I, стоявшая на столе во всех учреждениях.

[^^^]

Манишкурт – короткие рукава.

[^^^]

Оффенбах Жак (1819–1880) – французский композитор, один из основоположников классической оперетты, автор «Прекрасной Елены», «Периколы», «Сказок Гофмана» и др.

[^^^]

Апликовый – из металла, покрытого накладным серебром.

[^^^]

Солея – возвышение перед царскими вратами в церкви.

[^^^]

напротив (*франц.*)

[^^^]

Имеется в виду брак Павла I с принцессой Вильгельминой, вскоре умершей.

[^^^]

Попенный сбор – налог за срубленные деревья (с пня).

[^^^]